

Повести и рассказы // Государственное издательство художественной литературы, Москва, 1956
FB2: , 29.05.2011, version 1.2
UUID: 73EE2CBE-264A-4147-AAFE-E1A6A7795076
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Викентий Викентьевич Вересаев

На высоте

**Викентий Викентьевич
Вересаев**

На высоте

Парный извозчик ехал по шоссе в гору. За черными садами море смутно сверкало под звездами. Ордынцев упорно молчал. Вера Дмитриевна осторожно просунула руку под его локоть и с ласкою заглянула в глаза.

— Боря, ты за что-то сердишься на меня?

Ордынцев пожал плечами.

— Нет... За что сердиться? — Он в нерешительности помолчал. — Я только немножко удивлен. Ну, как ты, Верочка, до сих пор не знаешь, что значит «пойти в Каноссу»?

Вера Дмитриевна медленно высвободила руку и со сдержанным вызовом ответила:

— Что ж делать, не знаю!

— Не знаешь, — ну, спросила бы меня потом. А то при всех.

— Я вовсе не стыжусь показать, чего не знаю. Мне интересно было, что говорил профессор Богодаров. А он все поминал эту Каноссу. Я и спросила... Очень мне нужно, что подумают!

— Оно так, но я не понимаю, — для чего выставлять перед всеми свое невежество? Какая в этом нужда?

Пролетка катилась. Вера Дмитриевна молча смотрела в сторону. Вдруг она быстро сказала:

— Лучше я никогда не буду ездить с тобою к твоим знакомым. — И голос ее задрожал.

— Ну, Вера, зачем ты это говоришь? — мягко возразил Ордынцев. — Я сказал, что думал. Если тебе обидно, прости. Я не хотел задевать тебя.

— Вовсе не обидно. А только я чувствую, что тебе неловко бывать со мною у твоих знаменитых знакомых, стыдно. Я тебя постоянно компрометирую... Да и зачем мне там бывать? Ты им интересен, а я, — что я для них такое? Просто — жена Ордынцева, больше ничего.

Ордынцев ласково гладил ее руку в перчатке, как будто возражал этою ласкою.

— Ты сильно ошибаешься, если так думаешь! Я о тебе слышал здесь уже несколько отзывов... В тебе есть что-то удивительно честное, юношески-чистое. Это вызывает недоумение — и привлекает. Потому что сами мы слишком сжились со всякими условностями. Да взять, наконец, хоть бы как раз эту самую

«Каноссу». Из нас никто бы не спросил, если бы и не знал. Стыдно было бы. А ты спросила. И видела ты, как глаза у Богодарова засмеялись мягко и ласково?

Ордынцев старался утешить Веру Дмитриевну. Но от его слов в нем самом исчезла досада за «Каноссу», и она стала мила ему, с ее открытою душою и юным, девическим взглядом. Вера Дмитриевна молча, с затуманившимся лицом, смотрела на море.

Извозчик остановился. В заросшей плющом каменной ограде была решетчатая калитка. Они поднялись по каменным ступенькам и пошли вверх по кипарисовой аллее. Было темно и очень тихо. В воздухе стоял теплый, пряный аромат глициний. Ордынцев поднес к губам руку Веры Дмитриевны и тихонько целовал ее ладонь в разрез перчатки.

Убеждающим голосом, мягко и виновато, он сказал:

— Ну, девочка моя, ты не сердись на меня!

В обрывистом шепоте слышалась загорающая страсть.

Вера Дмитриевна грустно опустила голову.

— Я не сержусь.

Будет нервная, мучительная и ненужная для нее ночь... Он будет предупредительно-нежен и виновато-благодарен. А потом — через силу сдерживаемая грубость, непонятное, обидное отращение на лице и холодная скука.

Но теперь он — такой большой, с серьезным, думающим лбом — был покорен и ласков, как маленький мальчик. И в душе поднималось что-то тихое, матерински-нежное. Хотелось сделать ему приятное. Она сняла перчатку и ласково провела рукой по его щеке.

— Мне очень нравится, как ты сегодня говорил. Столько у тебя всегда нового, неожиданного! По лицам видно, как твои слова все ворошат в душах, все ставят вверх дном, заставляют над всем думать. А ты заметил, ведь Завьялов угощал тобою гостей?

Ордынцев пренебрежительно улыбнулся.

— Ну, угощал!

— Конечно!.. И ужасно был рад, что угощение вышло такое хорошее, — прошептала она и с гордостью погладила его волосы.

Ордынцев отпер ключом дверь дачи, они вошли в комнаты. В широкие окна было вид-

но, как из-за мыса поднимался месяц и чистым, робко-дробящимся светом ласкал теплую поверхность моря. Вера Дмитриевна вышла на балкон, за нею Ордынцев. Здесь, на высоте, море казалось шире и просторнее, чем внизу. В темных садах соловьи щелкали мягко и задумчиво. Хотелось тихого, задушевного разговора.

Странно низко, почти в уровень с крышею, по небу плыло от гор к морю воздушное белое облачко. Вера Дмитриевна сказала:

— Посмотри вверх, как низко облачко.

На глазах облачко бледнело, растягивалось и растаяло в воздухе. Ордынцев рассеянно ответил:

— Клочок тумана с гор.

Он тихонько расстегнул у кисти ее рукав и скользнул рукою по тонкой, голой руке к плечу. Она, все с тою же материнскою нежностью, гладила его курчавую голову, прижавшуюся к ее груди. И в темноте ее лицо становилось все грустнее и покорнее.

II

Когда Вера Дмитриевна проснулась, Ор-

дынцев давно уже, обложенный книгами, сидел на балконе своей комнаты и писал. Вера Дмитриевна чесала перед зеркалом волосы. На душе было тяжело, одиноко. В зеркале отражались ее плечи и шея. С враждою смотрела она на свою наготу и на невидимые следы его поцелуев на ней: почему, почему он — такой любящий, тихо-нежный, когда хочет ее, а в другое время почти ее даже не замечает? Как возможны такие резкие изменения, и почему этого нет у нее? Почему у нее горит к нему постоянно ровное, нежное чувство? И вот эти оскорбительные батистовые рубашки, эта декадентская прическа, — всего этого хочет он... Гадость, гадость!

На балконе, на лазурном фоне моря, рисовалась наклоненная над столом красивая голова Ордынцева. Вера Дмитриевна с враждою вглядывалась в него. Вот — грубый и хищный самец. Удовлетворил свой голод по самке и теперь себялюбиво-безразличен ко всему, что не он.

Вера Дмитриевна оделась, заварила для Ордынцева кофе и села читать статью в журнале о последней книге Ордынцева. Статья

была злобная и плоская. Цитаты, вырванные из книги без связи, пестрели нелепыми вопросительными и восклицательными знаками. И все-таки, даже изуродованные, цитаты эти сияли в серой статье, как лучи весеннего солнца в неубранной и грязной мещанской спальне. И на душе стало хорошо, серьезно. Вера Дмитриевна вошла в комнату Ордынцева, как будто чтобы положить на место журнал. Молча подошла и с тихой лаской поцеловала его в затылок. Ордынцев поморщился и, не оборачиваясь, нетерпеливо замахал рукою.

В двенадцать часов Вера Дмитриевна позвала его пить кофе. Он вошел, и в медленно двигавшихся глазах глубоко светилась еще продолжавшая работать мысль. Вера Дмитриевна спросила:

— Писалось тебе?

— Чудесно писалось! — Довольно потирая руки, он сел за кофе. — Этот крымский воздух, он положительно вдохновляет.

— А я сейчас прочла статью Коробкова. Как глупо! Боже мой, как все глупо!

Ордынцев улыбнулся.

— Да-а... И главное, злость-то беззубая, не задевает. Ругают тебя, а читать скучно.

— А знаешь, в одном я все-таки согласна с ним, а не с тобой, где он защищает утилитаризм. Я не понимаю, почему ты утилитаризм находишь пошлым. Ведь его не нужно непременно понимать в смысле «моральной арифметики» Бентама: хочу поступить хорошо — и высчитываю, что для меня же это будет выгодно и приятно. Так никогда это не делается. Просто, я поступаю хорошо, потому что мне было бы противно поступить иначе.

Он неохотно протянул:

— Ну, да... Дело в том, что наши так называемые нравственные действия вообще вне-разумны, и здесь не может быть самого вопроса об их выгодности или приятности.

Вера Дмитриевна встрепенулась и придвинулась к нему.

— Погоди, почему? Ведь чувство голода тоже вне-разумно, а оно в то же время неприятно, и я ем. Ем, потому что я голодна, потому что мне хочется есть, потому что я испытываю ощущение голода...

Ордынцев лениво потянулся и шутливо

похлопал ее по руке.

— «Голодна», «хочется есть», «испытываю ощущение голода», — ведь все это одно и то же!.. Ах, Верка!.. — Он добродушно засмеялся.

Вера Дмитриевна нетерпеливо возразила:
— Ну, это не важно! Я только хочу сказать...

Он стал серьезен.

— Я понимаю, что ты хочешь сказать. Пожалуй, в этом смысле ты права.

Вера Дмитриевна быстро взглянула на него, закусила губу и молча наклонилась над чашкою. Она видела, — Ордынцев соглашался просто потому, что ему было неинтересно спорить. Чувствовалось, он уже сотни раз слышал все эти возражения, и их скучно было опровергать.

Она молча пила кофе. Ордынцев не заметил, почему она замолчала, и стал говорить о том, что сегодня писал. Он любил излагать Вере Дмитриевне свои новые мысли. При этом они становились и для него самого яснее и отчетливее.

И опять ее стал захватывать тот живой, сиявший мыслью огонь, которым были полны

его слова. Она оживилась, спрашивала, возражала. Ордынцев легко отстранял ее возражения, как гибкие прутьики, и вел ее мысль за своею, как послушного ребенка.

III

Вечером они пили чай у матери Ордынцева. Она жила с двумя дочерьми в Чукурларе. Ордынцев посещал ее аккуратно каждую субботу, был предупредителен к матери, болтал и смеялся с курсистками-сестрами. Вера Дмитриевна чувствовала себя там хорошо и свободно, но ее стеснял Ордынцев: она видела, что он здесь только исполняет свой долг. Часто, когда все они, и Ордынцев с ними, смеялись и дурачились, в его глазах вдруг мелькала только ей заметная скука и усталость. Чувствовалось, как все они чужды ему. Было неловко за себя и за всех. Как будто большой человек, согнувшись, ходил среди них на корточках, чтобы быть одинакового роста с ними, и она видела, как от этого у него ноет все тело.

Так было и теперь. Но Вера Дмитриевна не чувствовала неловкости за себя. Ей вдруг ста-

ло вызывающе странно, — почему это обыкновенная, живая жизнь так непереносима для него? Вот, даже эти кипарисы, дымчатая даль моря, горы — всё это как будто немножко конфузится перед ним оттого, что не думает о критериях познания... С какой стати всем им конфузиться?

Они вдвоем возвращались домой по набережной. Ордынцев был вял и бледен. Он потер висок.

— Голова начинает болеть... Проедемся на лодке, я погребу.

— Поедем... Тогда туда пойдем, лодки там отдаются.

Вера Дмитриевна указала рукою по направлению к молу. Ордынцев поморщился и украдкой поглядел по сторонам.

— Ну, Вера!..

— Ах, да! Неприлично пальцем показывать... Хорошо, не буду!

Она усмехнулась про себя и пошла, глядя в землю.

Вот тоже. Он по натуре боец, смелый и дерзкий. Его веселит, когда на него набрасываются орды защитников шаблона, когда его

имя заливают грязью. Но это в области мысли. А в жизни он труслив и косен. Он двадцать раз оглянется в обе стороны, прежде чем перейти улицу, и приходит в ужас, если она режет котлету ножом... Она отыскивала в нем темное и нехорошее и старалась этим закрыть от себя тоску, которая была в ней от его холодности и отчужденности.

Солнце село. Все было в какой-то белой, тихой, раздражающей дымке. Тускло-белесое, ленивое море сливалось с белесым небом, нельзя было различить дали. Два черных судна неподвижно стояли на якорях, и казалось, они висят в воздухе.

Ордынцев молча греб. Вера Дмитриевна думала и не могла разобраться в той вражде и любви, которые владели ею. И было у нее в душе так же раздраженно смутно, как кругом. Волны широко поднимались и опускались, молочно-белые полосы перебивались темно-серебряными, в глазах рябило. Кружили чайки, и их резкие крики звучали, как будто несмазанное колесо быстро вертелось на деревянной оси.

Вера Дмитриевна злыми, вызывающими

глазами посмотрела на Ордынцева и спросила:

— Скажи, Боря, ты сейчас любишь меня?

Он удивленно оглядел ее и пожал плечами.

— Что за вопрос!

— Ну, скажи, любишь? Он неохотно ответил:

— Люблю, конечно.

Вера Дмитриевна нервно рассмеялась и замолчала. Ордынцев, нахмурившись, продолжал грести. Она опять заговорила:

— Ведь любовь вообще бывает разная. Человек любит своего ребенка, любит и карася, жаренного в сметане. Но своего ребенка он не станет жарить в сметане.

Ордынцев перестал грести, внимательно посмотрел на нее и мягко сказал:

— Верочка, зачем этот тон? У тебя что-то есть на душе. Почему этого не высказать просто? Ведь гораздо легче все выяснить, когда не сердишься. Что с тобою?

Его простые, ласковые слова оборвали ее ненавидящее настроение.

— Что со мной?.. — Она помолчала, чтоб

он не заметил подступивших к ее горлу слез. — Что со мной... Боря, мне странно, ты ничего не замечаешь, а ведь я уж сколько недель мучаюсь... И с каждым днем больше...

Ордынцев широко раскрыл глаза, как будто очнулся от глубокой задумчивости.

— Это правда, ничего не заметил, — наивно согласился он.

— Ну, вот... — Она еще помолчала. — Разве я не вижу, что ты меня совсем не любишь, что мы с тобой не пара? Ты живешь своею отдельною внутреннею жизнью, и до меня тебе нет совсем никакого дела. Тебе скучно со мной говорить. Все, над чем я думаю, для тебя старо, банально, уже давно передумано... И ты любишь только мое тело, одно тело... Господи, как это оскорбительно!

Ордынцев страдальчески нахмурился и вздохнул.

— погоди, Вера. Согласись, ведь, например, Марья Александровна в двадцать раз красивее тебя. А ты знаешь, я ее не выношу. Зачем же так говорить?.. Дело очень просто. Ты удивительно романтична и все хочешь какой-то «общности душ». Сколько уж у нас об этом

было разговоров. Ее у нас, конечно, нет и не будет. Люди с каждым поколением становятся все сложнее и разнообразнее. Теперь никогда уже два человека не смогут «слиться душами». Я думаю, скоро даже простая дружба будет становиться все труднее.

— Боря, да ведь у нас с тобою даже и этой простой дружбы нет, между нами нет *ничего* ... Вспомни, о чем мы с тобою говорим. Чтоб кофе тебе вовремя приготовить, чтоб переписать на ремингтоне твою статью, — больше ни о чем. Что же у нас общего, что нас связывает? Только то, что ты — мой господин, а я — твоя раба.

— Во-от как! — Ордынцев замолчал и с выжидающим вниманием уставился на Веру Дмитриевну.

— Да!.. А ты этого совсем даже не замечаешь. Ты, как большое колесо, свободно вертишься, а меня захватил в свои спицы и вертишь с собой. Я постоянно смотрю на тебя снизу вверх, меряю себя твоими глазами. Твой тон, взгляд, улыбка — все действует на меня неотразимо, я постоянно настороже, как ты взглянешь на мое слово или поступок. А я

привыкла быть сама собою, отдавать отчет только своей душе и никому другому. Со всеми людьми я чувствую себя уверенно, независимо, чувствую себя полным человеком. А теперь, с тобою, все это разметывается, все мешается, и я никак не могу отыскать почву под ногами...

Она говорила, торопясь и волнуясь, под его спокойно выжидающим, внимательным взглядом. И она знала, — на все ее слова у него найдутся неопровержимые возражения, и все-таки от этих возражений все останется в душе, как было. И она продолжала:

— Помнишь, мы недавно видели по дороге в Алупку плющ на сухом дереве? Ты душишь меня, как этот плющ. Дерево мертво, сухо, но плющ украшает его пышною, густою, чужою зеленью. Так и со мной: меня нет, вместо меня — ты. Я принимаю все, что ты думаешь, ты ведешь меня за собою, куда хочешь. Ты можешь дойти до самых противных для меня взглядов, — и я окажусь в их власти незаметно для себя самой...

Ордынцев, наконец, заговорил:

— Вера, но разве же я требую от тебя како-

го-нибудь подчинения? Подумай, в чем ты меня обвиняешь!.. Я начитаннее, — может быть, развитее тебя. Без меня ты решила бы такой-то вопрос так-то. Я прибавляю ряд данных, и благодаря им ты — совершенно свободно — приходишь к более обоснованному выводу. Ведь вот и вся моя роль.

Он говорил, как будто большой корабль уверенно резал носом мелкие, бессильно вздымавшиеся волны. Вера Дмитриевна взволнованно возразила:

— Нет, ты не просто даешь данные. Ты меня направляешь, прямо ведешь на буксире!

Ордынцев нетерпеливо потер руки.

— Я никак не могу понять — чего же ты от меня хочешь? Чтоб я ни о чем не говорил с тобой, чтобы не возражал тебе, если не согласен с твоими мнениями? Но ведь сама же ты сейчас только упрекала меня, что я будто бы говорю с тобой только о кофе и пишущих машинах.

Вера Дмитриевна тоскливо повела плечами и быстро двинулась на скамейке. Как будто птичка забилась, запутавшаяся в сети.

Ордынцеву вдруг стало ее горько жалко.

Он пересел к ней и мягко сказал:

— В одном ты, может быть, права: я действительно слишком занят собою, своими мыслями. Ты часто должна получать впечатление, будто мне до тебя нет дела. Но только, девочка моя, не будь ко мне слишком строга. Я, может быть, урод, люблю как-то особенно. Но все-таки очень люблю тебя... А уж насчет «тела» ты так несправедлива, — мне даже дико слышать. Я помню, как ты курсисткою в первый раз пришла ко мне, я потом три дня ходил под впечатлением твоих ясных, тревожно спрашивающих глаз. И ты для меня — в этих глазах, в славной, удивительно чистой душе, но не в теле же! Верочка, ведь ты сама не можешь этого не чувствовать!

Вера Дмитриевна, уткнувшись лицом в ладони, плакала, стыдясь своих слез и не в силах сдержать. А он нежно гладил ее по волосам. Белый сумрак спускался на море. Бултыхала вода, над тихою поверхностью кувыркались выгнутые черные спины дельфинов с торчащими плавниками. И все кругом было смутно и бело.

К ночи Ордынцев лежал в сильной мигре-

ни. Вера Дмитриевна ухаживала за ним, клала на голову горячие компрессы. С бережной любовью она вглядывалась в полумраке в его бледный, холодный лоб и думала, какой это хрупкий и тонкий инструмент — сильно работающий, мозг, и как нужно его лелеять.

IV

И все следующие дни Ордынцев был хмур и нервен. Ему не работалось. Он читал только беллетристику. В душе он винил в своем настроении Веру Дмитриевну, был скучен и более обычного холоден с нею. Глаза смотрели на нее с легким удивлением, как на незванно-пришедшую. Говоря с нею, он зевал.

Веру Дмитриевну это еще сильнее мучило, и черные подозрения роились в душе.

С раннего утра с гор подул на город бешеный ветер. Над улицами и домами вздымались тучи серой пыли. Деревья бились под ветром. Гибкие кипарисы гнулись в стройные дуги.

Вера Дмитриевна встала грустная, заплаканная. Ордынцев сидел у себя в кресле и читал Кнута Гамсуна. Она робко сказала:

— Хотелось тебя увидеть. Я на минутку...
Не мешаю тебе?

Он вяло ответил:

— Нет, я не работаю.

Вера Дмитриевна горячо поцеловала его в голову и села.

— Мне сегодня ночью снилось. Вхожу я к твоей матери на балкон. Ты сидишь с нею. Когда я вошла, вы замолчали, ты вышел. А она странно взглянула на меня и говорит: «Мне нужно с тобою поговорить», и смотрит так серьезно!.. «Боре очень тяжело жить с тобою. Все, что ты ни скажешь, все так банально, неинтересно. Все его так раздражает... Неужели ты сама не чувствуешь, что ты ему не пара?» И во сне мне так тяжело стало, так обидно, обидно... Я проснулась и плачу... Зачем, зачем ты мне этого прямо сам не сказал?

Такая вся она была жалкая, бледная, с синими кругами у глаз... Ордынцев взял ее руки в свои и улыбнулся.

— Деточка моя! Ведь не ответствен же я за то, что говорю тебе в твоих сновидениях!

— Я должна отказаться от тебя, я об этом все время думала. Но я не могу!.. Я так тебя

люблю! — Она прижалась головою к его плечу и зарыдала.

— Верочка, да ты с ума сошла! — всполошился он, пораженный ее словами. — Какие у тебя мысли! Что с тобой? «Отказаться!» Да пойми, что ты тогда со мною сделаешь!

Он стал говорить, как она необходима ему, как скрашивает его жизнь своими заботами и любовью, как ему дорого ее мнение об его работах. Вера Дмитриевна рыдала, прижав к лицу носовой платок. Потом вдруг быстро встала.

— Прости, все нервничаю!.. Зачем я об этом заговорила? Так глупо!

И ушла. Ордынцев думал и скучливо морщился... К чему это все? Как было легко и хорошо раньше, когда она с раскрытою душою шла ему навстречу, дышала им, как цветок солнечным светом. А теперь... Ну, да! В ней нет ничего особенного. Пора бы уж самой понять это и не требовать от жизни невозможного, а отдать силы на выращивание того, что есть у него...

Вечером они отправились в городской сад на симфонический концерт. Темнело, ветер

крепчал. Навстречу по дорожке шел плотный и высокий профессор Богодаров, с седоватыми волосами до плеч, в серой крылатке.

Он издалека улыбнулся им, любовно и дружески глядя на Ордынцева.

— Здравствуйте. Симфонический концерт пришли слушать? Отменен. По случаю ветра... Сядем все-таки, послушаем хоть садовую музыку.

В тоне его голоса чувствовалось, как он любит и ценит Ордынцева. Они сели на скамейку перед ротондой.

Публики было мало. Оркестр играл «Шествие гномов», попури из «Фауста». Ветер бушевал и трепал на пюпитрах ноты. Богодаров оживленно говорил с Ордынцевым. Вскоре они вполголоса горячо заспорили о чем-то.

Вера Дмитриевна сидела молча, кутаясь в накидку. На душе было одиноко. В груди тонко и быстро как будто дрожали натянутые струны. После утреннего разговора Ордынцев опять стал с нею нежен-нежен. Это было сладко и обидно. Хотелось плакать и от этого и от музыки, где скрипки пели о любви Маргариты к Фаусту. А в воздухе кругом дрожала жут-

кая тревога. Ветер шипел в деревьях. Электрические фонари мерцали и качались. Вправо на аллее, в тучах пыли, бились, изгибаясь, кипарисы. Из-за хребта Яйлы выглядывали черные, растрепанные тучи, как будто подстерегали что-то.

Ветер сильно рванул, пюпитры на эстраде опрокинулись, и ноты, как стая чаек, заметались в воздухе. Музыка оборвалась. Дирижер сказал что-то музыкантам. Все ушли. Вышел человек и объявил, что по случаю ветра музыка совсем отменяется. Служители подбирали на дорожках ноты.

Ордынцевы и Богодаров отправились в садовый ресторан. Они сели в стеклянной галерее и пили чай. Мимо прошел студент в потертой серой тужурке. Вдруг он нерешительно остановился, подошел и сказал, улыбаясь:

— Здравствуйте, Вера Дмитриевна.

Вера Дмитриевна взглянула и просияла.

— Бездетнов! Здравствуйте! Вы как здесь в Ялте?

Он ответил.

— Садитесь к нам чай пить, знакомьтесь. Это — профессор Богодаров, это — мой муж.

Студент почтительно поздоровался и сел. Вера Дмитриевна радостно и оживленно заговорила с ним, он отвечал, и они беседовали, как давнишние друзья.

Ветер завыл в саду и ударил песком в стекла галереи. Все оглянулись. Ордынцев нервно повел плечами.

— Вот в такую погоду на море очутиться! Бездетнов отозвался.

— Под вечер сегодня я был на набережной. Какое-то парусное судно уж совсем входило в гавань. Вдруг его понесло ветром в море. Выкинули красный флаг о помощи. Их уносит, а в гавани никто не двинулся на помощь. Так и исчезло за горизонтом.

— Парового катера здесь нет, а в лодке помочь невозможно, — вздохнул Богодаров, помолчал и спросил: — Вы, коллега, какого университета?

— В Московском был... Теперь уже не состою.

— По студенческим вылетели?

— Нет, не по студенческим... По обвинению в участии в социал-демократической партии.

Богодаров стал расспрашивать, и вскоре заспорили. Богодаров с Ордынцевым были против Бездетнова. Но Бездетнов держался, смотрел твердыми, даже слегка насмешливыми глазами и не уступал. И все, что он говорил, было для Веры Дмитриевны ясным, близким и родным.

Подошли знакомые Ордынцева. Спор прекратился. Вера Дмитриевна оживленно встала и вышла с Бездетновым в сад. Ордынцев видел в окно, как они быстро ходили по аллее, жмурясь от ветра, и горячо разговаривали.

V

В одиннадцатом часу Ордынцевы возвращались домой. В воздухе все чувствовалась та же тревога. Ветер с протяжным свистом проносился через сады. Телефонные проволоки жалобно гудели. Над головою с востока на запад неподвижно тянулась черная гряда туч. И что-то зловещее было в ее неподвижности, когда внизу все выло и билось. Горизонт над морем слабо сиял от невзошедшего еще месяца.

На душе у Веры Дмитриевны было светло. Против окружавшей тревоги росло бодрое, вызывающее чувство... И вдруг ей таким маленьким показался шедший рядом Ордынцев, опять ставший хмурым и нервным от окружавшей жуткой тревоги. Он заговорил:

— Славное лицо у этого студента... Но какой типично студенческий способ мыслить.

Вера Дмитриевна сдержанно спросила:

— Что же это за особенный студенческий способ мыслить?

— Ты заметила, он все превращает в прямоугольные четырехугольники? В сложное, загадочно-неправильное жизненное явление вколачивается железная рамка, и все становится удивительно простым и легко измеримым.

— Не знаю... А только я с ним была гораздо больше согласна, чем с вами.

— Кстати, кто он такой? Откуда ты его знаешь?

— Я с ним познакомилась в прошлом году, летом, когда гостила у подруги. — Вера Дмитриевна улыбнулась своим воспоминаниям и прибавила: — Такие странные у нас были от-

ношения!

— Какие же?

Она помолчала.

— Я думаю, он меня любил... В первый раз меня поразило его поведение, когда мы ездили на мельницу. Там была над самым омутом узенькая, гнилая дощечка... Ты сердисься, я при тебе не делаю, а вообще меня так и тянет ко всему опасному. Я хотела пройти по этой дощечке, он вдруг страшно побледнел, схватил меня за руку. «Вера Дмитриевна, я вам не позволю идти». Я засмеялась: «Вот еще!» — и, конечно, все-таки пошла. И весь вечер он был бледен, задумчив. И мне в первый раз стало странно. И потом вообще, когда мы бывали одни, вдруг начинало чувствоваться что-то особенное, не всегдашнее.

Вера Дмитриевна рассказывала, мечтательно улыбаясь. Она шла на сочувственное внимание Ордынцева, как будто рассказывала своей подруге. А он слушал, подняв брови, и соображал: это было прошлым летом, значит за месяц, за два до их свадьбы...

Они пришли домой, вошли в комнаты. Вера Дмитриевна, охваченная воспоминания-

ми, опять заговорила:

— И много, много было... Раз мы все поехали на пикник к шлюзам. Мы с ним спустились по лесенке в один из ящичков, где шлюзы были опущены. Стоим, — по обеим сторонам ревет вода, скользкие стены дрожат, и из щелей бегут струйки. Опять почувствовалось что-то не всегдашнее, значительное. Он говорит: «Давайте расскажем друг другу, когда и кого мы любили». — «Хорошо». Он стал рассказывать. Десяти лет влюбился в девочку Таню на елке, она была в розовом платье и розовых туфельках. А с тех пор, кажется, не любил... А у самого голос дрожит, бледный... И еще сильнее почувствовалось это важное. Я сказала, что люблю тебя, я ему об этом раньше говорила. И вдруг он вспыхнул, нахмурился и резко стал мне доказывать, что я тебя совсем не люблю, что я люблю тебя только как писателя, а это совсем другое.

Ордынцев коротко сказал:

— Я думаю, он был прав.

Вера Дмитриевна не заметила скрытой вражды в его голосе, не заметила напряженно-безразличного выражения его глаз и горя-

чо возразила:

— Нет, совсем не прав. Я для тебя дала бы себя на куски разрезать, а не сделала бы этого даже для Толстого. Тут совсем другое. К тебе любовь была какая-то шероховатая, с сомнениями и мучениями. Мне всегда казалось, — за что ты меня можешь любить? То гордилась тем, что ты такой умный и талантливый, любишь меня, то плакала. И всегда при тебе я чувствовала себя как будто немножко связанною. А с ним как-то странно было, но удивительно хорошо. Я знала, что люблю тебя, но с ним мне было так тепло-тепло и, главное, свободно. Я как будто грелась в его отношениях. Не было чувства снизу вверх, мы были во всем равны, как товарищи. Вместе читали, спорили. Мне были полезны его возражения, ему — мои. Говорю — и не боюсь, знаю, что мои слова не покажутся ему скучными. И стремления у нас тогда были общие, и общая работа подпольная... Скоро пришла телеграмма, ему пришлось уехать в Петербург, — и вот только теперь увиделись.

Ордынцев тяжело дышал. Вера Дмитриевна стояла, облокотившись о спинку кресла,

вся отдавшись воспоминаниям. И он смотрел на нее — молодую, девически-стройную, опять желанную.

— Да-а... Значит, если бы не телеграмма, ты бы со мною разорвала, это вполне очевидно, — медленно заговорил Ордынцев, и глаза его были холодны и злы. — Твое отношение ко мне и теперь осталось прежним. Вина моя, значит, в том, что я слишком умен для тебя...

Вера Дмитриевна, пораженная его тоном, быстро подняла голову. Он продолжал медленно и беспощадно-мстительно, с разрешившеюся тревогою, которая была в нем от тревоги кругом...

— Что же мне теперь делать? Я тебя люблю, потерять тебя мне было бы очень тяжело... Случается, что женщина разрывает с близким человеком потому, что он пошлет, опускается умственно и нравственно. Но разрывать из-за обратного, — на это, я думал, способны только мопассановские «*roupées de chair, faites pour les baisers*»[1]. Я стремился развиваться, стремился стать умнее, шире. Оказывается, в этом как раз и был мой промах. Нужно наоборот, стараться попридержи-

вать себя, не идти вперед, а если можно, пятиться назад...

Он вдруг замолчал. Вера Дмитриевна стояла страшно бледная, с широко открытыми, огромными глазами. И Ордынцев с ужасом почувствовал, что теперь все пропало и сказанного не воротишь ничем.

— Ох, Боря, что ты сказал... — тускло произнесла она, вдруг вздрогнула, издала горлом странный, глухой звук и быстро ушла к себе.

Замок щелкнул.

Ордынцев дрожащими шагами несколько раз прошелся по комнате, потом подошел к двери и постучал:

— Верочка!

Она властно ответила:

— Нельзя!

И стало тихо.

Ордынцев серьезно и настойчиво сказал:

— Ну, Вера, отвори, мне необходимо с тобой поговорить.

— Боря, я сейчас не могу. Потом.

Он растерянно повернулся, вышел на балкон. Над морем стоял месяц, широко окруженный зловецим зеленовато-синим коль-

цом. По чистому небу были рассеяны маленькие, плотные и толстые тучки, как будто черные комки. Ордынцев постоял, вернулся в комнату, сел на диван. За дверью было тихо. Он с тревогою думал: что она делает? И не знал, что предпринять. И чуждыми, глупо-ненужными казались ему сложенные на столе папки с его работами.

Через час Вера Дмитриевна вышла, с сухими, большими и радостными глазами. Новым, не боящимся его возражений голосом она сказала:

— Я утром уезжаю.

Ордынцев внимательно посмотрел на нее и молча забарабанил пальцами по ручке дивана.

— Вера... Я глупо погорячился и наговорил непозволительных пошлостей, — через силу произнес он.

— Боря, нет, я не из-за этого... Но теперь я уж всегда буду думать, что камнем вишу на тебе. А потом... Я много сейчас передумала. Полезной я тебе никогда не буду. И вот, странно, — когда я это поняла, я вдруг почувствовала радость. Вдруг почувствовала, что хочу

жить сама. Не тебя лелеять хочу, а хочу жить на собственный риск... Да, я не так умна, не так развита. А все-таки жить должна своим умом. И пусть будет, что будет...

Она подошла к двери балкона и жадно дышала свежим ветром. И стояла она, радостно и чутко насторожившись, как серна, почуявшая свободу.

Ордынцев чувствовал, что теперь все его уговоры окажутся бессильными. Он угрюмо смотрел на Веру Дмитриевну и думал: любила ли она его хоть когда-нибудь, или нет?

1904

Примечания

1

«Красивые куклы, созданные для поцелуев»
(франц.).

[^^^]